

Aleksandr Demidov

БОГ УМЕР ВО ВТОРНИК

р о м а н



Aleksandr Demidov

Бог умер во вторник

<https://litres.ru/74638914>

SelfPub; 2026

Аннотация

Бог умер во вторник. В среду людям пришлось жить дальше. Это не метафора. Учёные обнаружили, что у нашей реальности был Создатель. А затем выяснили нечто страшнее: Он больше не отвечает.

Мир не рухнул. Солнце продолжило восходить. Люди по-прежнему влюблялись, предавали, хоронили близких и покупали хлеб. Но теперь всё стало иначе.

Священник больше не знает, как утешить потерявшую ребёнка мать. Старик, всю жизнь ожидавший расплаты за совершённое преступление, понимает, что суда может не быть. А обычные люди пытаются ответить на вопрос: зачем делать добро, если никто этого не увидит?

В небольшом городе судьбы незнакомцев переплетаются вокруг открытия, которое лишает человечество последнего оправдания.

Если Бога больше нет, кто теперь отвечает за всё, что мы делаем?

«Бог умер во вторник» — пронзительный философский роман о вере и сомнении, вине и прощении, правде и милосердии. О людях, которым предстоит заново научиться быть людьми.

Aleksandr Demidov

Бог умер во вторник

АЛЕКСАНДР ДЕМИДОВ

БОГ УМЕР ВО ВТОРНИК

Роман

Часть первая

1

К полуночи подморозило, и Виктор сбросил до сорока, потому что на Виенибас мост всегда прихватывало первым, раньше всей остальной дороги. Аснате дремала справа, привалившись виском к стеклу, и он вёл ровно, без рывков, чтобы не будить. Успеет ещё набегаться.

Радио бормотало под приборкой. Он давно не слушал слова, только держал звук — чтобы кабина не была совсем тихой, чтобы ночь не давила. Диктор говорил быстро, с той особой интонацией, какая появилась у всех дикторов в последние недели, будто каждый читал не свою смену новостей, а завешание. Виктор протянул руку и убавил. Стало почти неслышно.

Город шёл мимо, тёмный, в редких окнах. На Новостроении горели два — на девятом и на пятом, и он машинально отметил, что на пятом свет жёлтый, настольная лампа, не спит кто-то, а на девятом синеватый, экран. Тридцать лет по

этим дворам, он знал их, как знают собственную квартиру в темноте — где табуретка, где косяк. У четвёртого дома по Стрелниеку лифт стоял третью неделю, и если оттуда вызовут, придётся тащить на себе с верхних, он это уже держал в уме, заранее, как держат в кармане ключи.

Рация дала знать. Он снял, послушал. Аснате открыла глаза, не поднимая головы от стекла, — она всегда просыпалась на рацию, даже сквозь сон, тело само.

— Гаяока, — сказал он. — Сердце, женщина, за семьдесят.

— Едем.

Она села прямо, потёрла лицо ладонями, полезла назад проверять сумку — не потому что не проверила в начале смены, а потому что руки должны что-то делать, пока едут. Виктор развернулся через сплошную — ночью можно — и пошёл на Гаяока, набирая скорость там, где дорога позволяла, и сбрасывая там, где помнил ямы. Мигалку включил, сирену нет: пусто, кого будить.

Всю дорогу он думал про то, как будут заносить. Пятый этаж, скорее всего без лифта, лестница узкая в тех домах, носилки на пролёте не развернуть, придётся на стуле или на руках. Аснате рядом, но она худая, основной вес на нём. Ничего, не в первый раз. Он прикидывал углы поворотов на лестнице так же спокойно, как прикидывал дорогу, — это была работа, и он её знал.

Дверь открыл мужчина, тоже старый, муж, — он стоял в

майке и трико, босой на холодном полу, и в лице у него была та растерянность, какая бывает у людей, всю жизнь проживших вдвоём и впервые оставшихся один на один с тем, что одному не поднять. Он что-то говорил, показывал в комнату, извинялся за чем-то. Виктор прошёл мимо, привычно, не грубо, но и не тратя времени на слова, — слова были не его дело.

Женщина лежала на кровати поверх покрывала, серая, с испариной, и дышала часто и мелко. Аснате уже была над ней, уже говорила ровным своим голосом, тем самым, от которого людям делалось легче раньше, чем от любого лекарства, — «сейчас, сейчас, потерпите, всё делаем». Виктор ставил, подавал, держал. Руки знали порядок. Давление, ЭКГ, ампула, ещё ампула. Старик стоял в дверях и смотрел, и Виктор спиной чувствовал, как он смотрит, — так смотрят, когда от твоего взгляда ничего не зависит, а не смотреть невозможно.

Отпустило её минут через двадцать. Дыхание выровнялось, серость сошла, женщина открыла глаза и сразу нашла ими мужа в дверях, и он шагнул было, но Аснате мягко придержала — рано ещё, полежите. Везти всё равно надо, сказала она, в стационар, понаблюдать. Женщина слабо мотнула головой — не хочу, — и муж тоже как-то весь мотнулся, не хочу, но это уже было не всерьёз, это они так, для порядка боялись больницы, а на самом деле были рады, что кто-то теперь решит за них.

Заносили в машину на стуле, и Виктор шёл спиной вперёд по лестнице, держа основной вес, и считал ступени, как всегда считал, чтобы не оступиться на последней, которой не видно. Старик семенил следом с пакетом — паспорт, тапочки, зачем-то очки, — собрал, что успел, дрожащими руками. Виктор кивнул ему: садись, мол, впереди со мной. Не положено, но кто ночью проверит, а старику одному в пустой квартире сейчас нельзя.

В машине снова забормотало радио. Старик прислушался — он был из тех, кто слушает, — и вдруг сказал в темноту, ни к кому:

— Вот ведь. И это теперь. На старости лет.

Виктор не ответил. Он вёл, смотрел на дорогу, на белую разметку, выплывающую из-под фар, и думал про то, что жёну его довезут, и сдадут, и что дальше по смене ещё часа четыре, и хорошо бы обошлось без лестниц. Про то, что говорил старик, он думать не стал. Ему было некогда, и потом — что тут думать. Везёшь живого — вези. Радио пусть себе бормочет.

Он приглушил его совсем и прибавил ходу.

2

Аптека открывалась в восемь, но Вера приходила к половине — отпереть, поднять жалюзи, включить холодильную витрину, дожждаться, пока лампы над прилавком перестанут мигать и встанут ровным светом. Ей нравились эти полчаса, когда в зале ещё никого. Она протирала стекло, хотя оно бы-

ло чистое, и слушала, как за спиной набирает гул холодильник, и это было похоже на то, как топят печь перед приходом гостей.

К восьми под дверью уже стояли двое. Всегда стояли — те, кому не спалось, кому надо было первыми, кто жил один и для кого аптека с утра была первым за день человеческим окном, куда можно сказать слово и получить слово в ответ. Вера отпирала, впускала, здоровалась по имени. Она знала почти всех. Тридцать лет за этим прилавком — она знала город по рецептам лучше, чем иной врач: кто на давлении, у кого сахар, кто носит рецепт мужа, а мужа уже полгода нет, а рецепт всё носит, для порядка.

— Вера Петровна, мне бы это, от сердца, как обычно.

— Как обычно так как обычно, Зинаида Марковна. Только вы через два часа после еды, а не до, помните? А то в прошлый раз жаловались.

Она отпускала, считала сдачу, поворачивалась к следующему. Очередь текла. В ней было что-то от реки — не оставливалась, но и не спешила, каждый со своей мелочью, и в мелочах, если приглядеться, был виден весь город. Вот женщина берёт снотворное, третью пачку за две недели, — раньше брала раз в месяц. Вот мужчина, наоборот, отодвигает свой обычный набор от давления: «а, не надо, ну его». Вера не спорила. Она видела за последние недели всякое. Люди по-разному переваривали то, что случилось, и почему-то это доходило до неё именно так — через то, что они переставали

или начинали покупать.

Одна старушка, из самых давних, задержалась у прилавка, помялась и спросила тихо, будто по секрету:

— Вера Петровна, а вы как думаете... таблетки-то теперь — грех не грех?

— Какой же грех, Анна Иосифовна. Здоровье беречь — не грех.

— Так ведь... — старушка не договорила, поводила рукой в воздухе, показывая куда-то вверх и в сторону, туда, где, по её представлению, что-то теперь было не так. — Раз такое дело...

— Берите-берите, — сказала Вера мягко. — И давление меряйте. Это от вас никуда не делось.

Старушка взяла, успокоенная не ответом, а тоном, и пошла к двери, мелко ступая. Вера смотрела ей вслед и думала, что вот это она умеет — успокоить тоном, не словом. Слова у неё все вышли. А тон остался, тон был при ней тридцать лет, тон не спрашивал, во что она верит.

В десять стало посвободнее, и она позволила себе стакан чая в подсобке, стоя, привалившись к шкафу с картотекой. Здесь, среди коробок, пахло картоном и чем-то аптечным, ровным, тем же, что тридцать лет. Она отхлебнула, и взгляд сам собой лёг на верхнюю полку, где стоял ящичек с её собственными бумагами — не рабочими, своими. Там лежал мамин рецепт. Последний. Она так и не выбросила, всё не поднималась рука, хотя лекарство было давно не нужно, лекар-

ство было ни к чему уже с марта.

С марта. Она поймала себя на том, что опять считает, в который раз, — от марта до того вторника. Сколько там было. Полтора месяца. Мама ушла в марте, спокойно, дома, Вера была рядом, держала за руку, и всё было — как надо, как положено, по-человечески. Отпели, похоронили на Коммунальном, рядом с отцом. Всё было тогда ещё в том мире, в старом, где всё было на своих местах.

Полтора месяца, думала она. Мама успела.

Она не додумывала эту мысль до конца, никогда не додумывала, обрывала на «успела» и ставила стакан, и шла обратно к прилавку, потому что кто-то уже звякнул дверью. Успела — и всё. Дальше был край, за которым думать было нельзя, и Вера тридцать лет умела не заходить за края, за которыми нельзя.

— Иду! — крикнула она в зал, обычным своим голосом, ровным, тёплым. — Иду, здравствуйте. Что у вас?

3

Родители перевели деньги в понедельник, как всегда по понедельникам, и мать написала в мессенджере: «получила? как ты там? у нас дождь». Ксюша ответила «ага, норм» на первое и не ответила на остальное, потому что на «как ты там» честного ответа не было, а нечестный мать всё равно чувствовала через экран и начинала звонить, а звонить было хуже всего — сорок минут смотреть на мамино лицо в плохой связи и говорить, что всё хорошо, разными словами,

чтобы не повторяться.

Квартира была её. То есть бабушкина, но бабушка жила в своей, через два двора, и приходила редко, и это Ксюшу устраивало, и бабушку, кажется, тоже. Бабушка была из тех, кто не лез. Приносила иногда суп в банке, ставила в холодильник, говорила «поешь нормально хоть раз» и уходила, не задерживаясь, будто боялась помешать. Ксюша ценила это в ней больше, чем что бы то ни было. Бабушка понимала про пространство. Родители не понимали про пространство даже из Ирландии, даже через дождь.

Ночью она сидела в коде. Днём была школа, а ночь была её, настоящая, когда никто не писал и не звонил, когда квартира делалась просто тёмной коробкой с одним светящимся окном — её экраном, — и можно было думать по-настоящему, длинно, не отвлекаясь на людей.

В школе про это только и говорили, и говорили тупо. «Слышал, бога отменили». «Да мне бабка всё уши прожужжала, крестится теперь на каждый столб». «Прикинь, доказали, а он взял и помер, лол». Кто-то запостил мем — бородатый дед из старого мультика падает с облака, подпись «во вторник». Ксюша поставила смешно, потому что было смешно, мем был нормальный. Она сидела со всеми на подоконнике в рекреации, ела булку и смеялась вместе, и это было легко, это ничего не стоило.

Ей было всё равно. Не назло, не из принципа — просто всё равно, как бывает всё равно, что где-то взорвалась далёкая

звезда, которую видно будет только через миллион лет, а может, и не будет. Взрослые ходили пришибленные, у них буд-то отняли что-то, что у них было, и они не знали теперь, куда девать руки. А у Ксюши этого не было отродясь. Ей нечего было отнимать. Бог был для неё примерно как гороскоп у матери — что-то, во что взрослые то ли верят, то ли делают вид, а спроси в упор — сами не скажут. И вот теперь оказалось, что был. Ну надо же. Был и кончился. Она приняла это ровно как ту звезду: интересно, но не про меня.

Хотя нет. Не совсем ровно.

Была одна штука, которая её царапнула, и не там, где всех, — не «бога жалко», бога ей было не жалко. Царапнуло с другой стороны. Она полезла ночью читать, как именно доказали, — не сплетни, а по-настоящему, техническое, — потому что в классе никто не читал, все только пересказывали пересказ пересказа, а ей было противно жить в пересказе. И она нашла, и стала разбирать, медленно, потому что это было сложно и написано не для неё, но она умела разбирать сложное, если оно про то, как что-то устроено.

И оно было про то, как устроено. Вот что её зацепило. Не про веру, не про душу, не про рай. Про то, что константы — числа, на которых всё держится, скорость, заряд, ещё какие-то, которых она пока не понимала, — не могли получиться сами. Их задали. Снаружи. Кто-то поставил параметры и запустил.

Ксюша перечитала это место три раза. Оторвалась от

экрана, посмотрела в тёмное окно, где отражался её же экран и её лицо в нём, бледное.

Задали параметры и запустили.

Она это делала каждую ночь.

Мысль была ещё не мысль, а только её край, и Ксюша не стала её ловить — поздно, глаза резало, завтра школа. Она закрыла ноутбук, и комната стала совсем тёмной. Полежала, глядя в потолок. Ничего особенного не почувствовала. Просто отметила, где-то с края, что это, пожалуй, единственное во всей истории, что было ей понятно по-настоящему, изнутри, — и что понятно ей одной, потому что остальные читали пересказ.

Потом уснула. Утром пришла эсэмэска от банка о зачислении и от матери — «доброе утро солнышко». Ксюша прочитала обе, встала, пошла в школу.

4

Яков Гаврилович вставал в шесть, хотя вставать было незачем и некуда. Привычка держала крепче нужды. Он застилал постель — ровно, с подвёрнутым краем, как когда-то приучили и как он не разучился за целую жизнь, — брился, хотя брить было почти нечего, выпивал стакан горячей воды, потому что чай ему было нельзя, а без горячего утром он не мог. Потом стоял у окна и смотрел, как во дворе светает.

Он был из тех стариков, каких в каждом дворе по одному-два: тихий, чистый, вежливый до незаметности. Соседи знали его как человека, который всегда здороваётся первым

и никогда не задерживает разговором дольше, чем нужно. «Доброе утро, Яков Гаврилович». — «Доброе, доброе». И всё, и разошлись, и от него оставалось ровно то, что и должно оставаться от порядочного старика, — ничего, лёгкое приятное ничего.

В магазин он ходил по вторникам и пятницам, в одно и то же время, и брал одно и то же, и кассирша знала его набор наизусть. Он не любил менять. Перемены он не любил всю жизнь, и жизнь долго шла ему навстречу, была ровной, без перемен, — так ровно, что можно было забыть, с чего всё началось. Он и забывал. Днями, неделями забывал. А потом что-нибудь — свет так ляжет, или голос чей похожий, или просто ночь без сна — и вспоминалось, поднималось со дна, и он лежал и ждал, пока опустится обратно. Оно всегда опускалось. Он научился ждать. Ждать он умел лучше всего на свете, потому что ждал, по сути, всю жизнь — одного.

Теперь по двору ходили пришибленные. Он видел это из окна и на улице — как переменились люди за последние недели. Соседка снизу, крепкая всегда баба, шла через двор мелко, ссутулясь, будто несла на плечах что-то. Мужики у гаражей курили молча, не переругиваясь, как раньше. В магазине кассирша ошиблась ему со сдачей, чего не бывало, и извинилась дрожащим голосом, и он видел, что она напугана, вся, до самого нутра напугана, и не одна она.

Он их понимал и не понимал. Понимал, что им страшно, — им сказали, что то, во что они то верили, то не верили,

а больше не верили, — оказалось правдой. Есть. Был. Над ними. И это их подкосило, хотя, казалось бы, должно было обрадовать: не пустота, значит, не зря. Но их не обрадовало, их придавило, и Яков Гаврилович догадывался почему, хотя вслух бы не сказал: одно дело верить, что кто-то смотрит, и совсем другое — знать наверное.

А сам он не был подкошен. В том-то и была разница, которую никто во дворе не заметил бы, потому что снаружи он был всё тот же аккуратный старик. Внутри же он в эти недели не согнулся, а наоборот — выпрямился. Ему сказали то, что он и так знал всю жизнь, каждый день знал, лучше их всех: что смотрят. Что есть — Кому. Он никогда в этом не сомневался, ему не нужно было доказательств, у него доказательство было своё, при себе, полвека. И вот теперь оказалось, что он был прав. Что это не морок, не совесть, не старческое, — правда. Есть. Смотрит. Ведёт счёт.

Значит, будет и ответ.

Эта мысль не пугала его — она его собирала. Он ловил себя на том, что в последние дни ходит ровнее, спит, ест по расписанию с каким-то даже аппетитом, которого давно не было. Будто всю жизнь стоял в очереди, длинной, безнадёжной, конца которой не видно, — и вдруг очередь двинулась. Впереди зашевелились. Скоро подойдёт его черёд.

Он вымыл стакан, поставил на сушилку доньшком вверх. Вытер руки. Подошёл к комоду и, как в последние дни по-вадил, выдвинул нижний ящик, где лежали бумаги, — не

искать, а так, посмотреть, всё ли на месте, в порядке ли. Он любил, чтобы к его уходу было в порядке. Он не знал, когда, но чувствовал, что теперь скоро, и хотел встретить готовым. Всё было на месте. Он задвинул ящик.

За окном совсем рассвело. Двор жил своё утро — кто на работу, кто с собакой. Яков Гаврилович постоял ещё немного, глядя, как они ходят там, внизу, живые, напуганные, не знающие, что бояться-то надо не того, что смотрят, а того, что однажды перестанут. Он-то знал. Он ждал своего вызова с почти забытым, тихим, страшным облегчением человека, которому наконец назначили день.

5

К девяти у него уже стояли трое: чайник без ручки, утюг и старая швейная машина, которую притащила Гуревич с третьего этажа, — «Дамирчик, только ты, больше никто не берётся». Никто и правда не брался. Мастерских в городе почти не осталось, всё выбрасывали и покупали новое, а к нему несли то, что жалко выбросить, — не по цене жалко, а так, по привычке руки к вещи. Он это понимал лучше владельцев. Вещь живёт, пока её чинят.

Его звали Дамир, весь город звал его Дамир, тридцать лет уже, и он давно на это откликнулся быстрее, чем на своё. До-ниёром его называла только Велта, дома, и то не всегда — когда что-то важное или когда сердилась. Для остального Да-угавпилса он был дядя Дамир из мастерской у рынка, к которому идут с утюгом и с которым можно поговорить, пока

он чинит, потому что он слушал.

Он и слушал. Работал руками и слушал, и за годы научился по человеку, вошедшему с поломкой, читать больше, чем человек думал показать. Это была не хитрость и не какое-то особенное чутьё — просто когда сидишь тридцать лет над чужими вещами и над людьми, которые их принесли, начинаешь видеть, где у вещи слабое место и где у человека. У утюга перетёрся шнур у основания, там, где всегда перетирается, потому что там гнут. У Гуревич тряслись руки сильнее обычного, и она говорила без остановки, про машинку, про соседку, про что попало, лишь бы говорить.

— Тревожно всем, — сказал он, разбирая машинку. — Время такое.

— Ой, Дамирчик, и не говори. — Она ухватила за это, как за поручень. — Я ж теперь ночами не сплю. Как подумаю — так и лежу. Ведь это что же теперь, а? Был — и нету? Как же так — был и нету?

Он кивал, крутил отвёртку. Он знал, о чём она. Весь город об этом, весь город лежал ночами и думал одно и то же: был и нету. Ему было их жалко — по-настоящему, не свысока. Он видел, как это их подкосило, всех подряд, и русских, и латышей, и Гуревич эту, и мужиков на рынке, и ксёндза даже, говорят, — всех, кому небо обвалилось разом. Целый город под одним обвалившимся небом, и все под ним равны, впервые за все годы равны, не грызутся, а ходят пришибленные и тихие, будто в одном доме покойник.

И только с ним было не так.

Он не думал об этом прямо, не ставил себе этого словами, — но чувствовал, глухо, где-то под работой, что стоит чуть в стороне. То, что доказали и потом отняли, — было не его. Не то, к чему он поворачивался пять раз в день. Он не мог бы объяснить Гуревич разницу, да она бы и не поняла, и он не пытался. Он просто знал, что ночами не лежит, как она, что спит, что встаёт и молится, как молился вчера и позавчера, и ничего в этом не сдвинулось. У них сдвинулось. У него нет.

Раньше он бы этому не придал значения. Ну, у каждого своё. Тридцать лет своё у него было при нём и никому не мешало, и он делил с этим городом всё остальное — работу, соседей, свадьбы их и похороны, зятя-латыша, внуков, которых теперь видел по экрану из-за границы. Своё держал при себе, тихо, и это не отделяло его, а как-то даже роднило: у всех своё, и у него своё, все равны в том, что у каждого что-то есть.

А теперь у всех своё — обвалилось. У всех разом. И осталось только у него.

Он затянул винт, крутанул колесо машинки — пошло ровно. Гуревич обрадовалась, засуетилась с кошельком. Он взял немного, меньше, чем стоило, как всегда брал с таких, и она ушла, унося машинку и на минуту забыв про своё ночное, — вещь починилась, это была маленькая радость, а маленькие радости сейчас на вес.

Дамир проводил её взглядом. Постоял, вытирая руки ве-

тошью. За окном рынок жил обычным утром, торговали, ходили, и над всеми ними висело то, чего не было видно, но что они теперь несли, каждый. А он стоял в дверях своей мастерской, живой среди них, свой среди них, дядя Дамир, — и впервые за тридцать лет что-то в этом «свой» едва слышно дало трещину. Он не понял пока, что это. Отложил, как откладывают вещь, которую починишь потом. Взял утюг, сел, склонился над перетёртым шнуром.

6

Костёл был полон, как на Пасху, — нет, полнее, чем на Пасху, потому что на Пасху приходили нарядные и радостные, а эти пришли как приходят к постели больного: тихо, тесно, не зная, куда девать руки. Станислав видел их со ступеней алтаря, всё это множество лиц, обращённых к нему, и узнавал многих, хотя многих не видел годами. Вот Бартеквич, которого он крестил младенцем, а потом не встречал лет двадцать. Вот вдова Стумбре, чьего мужа отпевал в позапрошлом году. Вот люди, которых он венчал, чьих родителей провожал, — все они вернулись, все стояли теперь здесь, и все смотрели на него, и ждали.

Он служил.

Тело знало, что делать, и делало без него. Руки поднимались и опускались, губы произносили латынь, колени сгибались и разгибались в положенных местах. Сорок с лишним лет он служил эту мессу, он мог бы служить её во сне, и вот теперь, кажется, служил во сне, потому что сам он был не

здесь, сам он стоял где-то в стороне и смотрел, как старый ксёндз в облачении совершает над полным костёлом движения, которые всю жизнь что-то значили.

Раньше — значили. Раньше он поднимал чашу, и это было не движение руки, это было — к Кому-то. Между ним и сводом стояла натянутая, живая связь, ради которой всё, и латынь, и коленопреклонения, были только словами и жестами при чём-то настоящем. Он служил не в пустоту. Он служил Тому, Кто был. И вот теперь ему — как и им всем, всему городу, всему свету — сказали, что Тот, Кто был, — был. Правда был. Он, Станислав, оказался прав. Всю жизнь прав, до последней запятой в катехизисе прав.

И тем же числом, тем же доказательством ему сказали, что теперь — нет.

Он поднимал чашу и не знал больше, к Кому. Свод был просто сводом, крашеным, с трещиной над третьим окном, которую всё собирались заделать. Он поднимал чашу в крашенный свод с трещиной, и множество за спиной опускалось на колени, слыша шелест облачения, веря, что старый ксёндз возносит их горе туда, куда положено. А положено было — некуда. Он держал это знание в поднятых руках, как держат непосильное, и опускал чашу, и продолжал, потому что остановиться было нельзя, они пришли, они стояли, им надо было, чтобы кто-то поднимал руки к своду.

После, когда служба кончилась, они не расходились. Они подходили к нему — не все, но многие, — брали за руку,

ловили взгляд, хотели слова. И вот тут было хуже всего. Потому что раньше у него всегда было слово. Сорок лет у него на всякое горе было слово, стёртое от частого повторения, но верное, — «Господь милостив», «он теперь не страдает», «всё в руках Божьих», — слова, которые он раздавал, не задумываясь, как раздают хлеб, и они насыщали, люди уходили с ними, как с хлебом. А теперь он открывал рот — и хлеба не было. Мешок был пуст. Он смотрел в поднятое к нему лицо, ждущее «всё в руках Божьих», и не мог этого сказать, потому что рук больше не было, и он это знал точнее всех в этом костёле, он это знал профессионально.

Он молчал.

Он клал ладонь на плечо, или накрывал чью-то руку своей, или просто смотрел — и молчал. И — вот что было странно и невыносимо — они принимали это молчание. Они уходили утешенные. Старая Стумбре сжала ему руку обеими своими, посмотрела снизу вверх глазами, полными слёз, и прошептала: «Спасибо, отче. Вы всё понимаете». И отошла, унося его молчание как понимание, как глубину, как то самое слово, которого он ей не дал.

Он смотрел ей вслед. Он не понимал ничего. Он был пуст, как этот мешок, как этот свод, и его пустоту принимали за полноту, и это было, пожалуй, единственное чудо, оставшееся ему, — что онемевшего пастыря паства слушала внимательнее, чем говорившего сорок лет. Они наконец слышали в нём глубину. А глубины не было. Было дно, о которое он

в эти дни стукнулся, и звук этого удара они принимали за колокол.

Последние вышли. Он остался один в пустом костёле, среди гаснущих свечей, под сводом с трещиной над третьим окном. Постоял. Потом стал гасить свечи, одну за другой, привычно, обходя алтарь, — старый человек в опустевшем доме, делающий на ночь то, что делал всегда. Свечи гасли, и с каждой становилось темнее, и он не думал ни о чём, только считал их про себя, чтобы не пропустить, и гасил, и шёл к следующей.

7

Вызов был на Химию, в частный сектор, и Виктор знал по адресу, что не довезут, ещё до того, как приехали, — по тому, как звонившая говорила в трубку, слишком спокойно, тем спокойствием, за которым уже ничего не решить. Мужчина, шестьдесят два, упал в огороде. Пока ехали, Аснате готовила всё, что нужно, и он гнал, потому что гнать было надо, даже когда знаешь, — не гнать было нельзя, это было бы уже не про больного, а про них самих, про то, чтобы махнуть рукой.

Они делали всё. Он качал, Аснате — своё, по очереди, долго, дольше, чем была надежда, потому что останавливаться первым никто не хотел. Жена стояла у забора, держась за штакетину, и не голосила, а смотрела, и в этом смотре-нии было больше, чем в любом крике. Огород был вскопан, грядка размечена, лопата воткнута в землю, и рядом стояло

ведро семенной картошки, пророщенной, с бледными ростками, — он сажал, когда упал, и половину рядка успел, а половину нет.

Не довезли. Аснате разогнулась первой, посмотрела на Виктора, и он кивнул — всё, — и они перестали. Он поднялся с колен, отряхнул брюки от огородной земли, машинально, и постоял, переводя дух. Работа была тяжёлая физически, сердце своё колотилось. Жена отпустила забор и пошла к мужу, и они с Аснате отступили, дали ей.

И вот тут это и случилось, впервые, — не горе, горя он за тридцать лет навидался и научился держать его от себя на длину руки, иначе не проработаешь и года. Не горе. Мысль. Дурацкая, короткая, не ко времени. Он смотрел на этого мужика, на лицо его, уже не мужика, а того, что от него осталось, — и вдруг подумал: а куда он теперь.

Раньше он так не думал. Не потому что верил во что-то, — он ни во что толком не верил, руки у него верили в работу, а голова была занята дорогой и лестницами. А просто как-то само собой, не думая, подразумевалось, что человек, когда его не довезёшь, — уходит. Куда-то. Не в никуда. Это даже не было мыслью, это был фон, как то, что земля внизу, а небо вверх, о чём не думают, потому что и так.

А теперь фон убрали. Кто-то взял и убрал, и он это, оказывается, заметил, вот сейчас, над чужим огородом. Мужик сажал картошку, ростки бледные, живые, половину рядка засадил — и всё, и больше нигде. Не «ушёл». Кончился, как

кончается — вот эти ростки в ведре засохнут теперь, если не досадить, и мужик так же. И это было так голо, так просто, что Виктор на секунду встал столбом, с землёй на коленях, и не мог сообразить, что дальше делать руками.

Потом сообразил. Дальше надо было оформлять, звонить, ждать перевозку, говорить с женой то, что говорят. Аснате уже занималась, и он включился, и мысль отошла, потому что дел было по горло, а дела он знал. Он помог с бумагами, он посидел с женой на скамейке у дома, пока она не начала говорить, — они всегда сначала молчат, потом начинают говорить, и надо только быть рядом, — и он был рядом, и слушал, и кивал, и это он умел.

В машину сели уже под вечер. Аснате молчала, смотрела в окно. Виктор завёл, тронулся. И поймал себя на том, что мысль-то не ушла совсем, отодвинулась только, стоит где-то с краю и ждёт, как ждут пассажира на остановке. Куда он теперь. Виктор мотнул головой — не буквально, внутри, — и стал думать про конец смены, про то, что дома в холодильнике, про завтра. Про мужика с картошкой думать было нельзя. Не потому что жалко, — жалко всегда, к жалости привык. А потому что за этой мыслью открывалось что-то, куда ему заглядывать было не надо, некогда, и вообще не его это дело, куда все уходят. Его дело — довезти. Кого можно.

Он прибавил, выезжая на трассу. Аснате всё смотрела в окно. Радио он включать не стал.

Информатику вёл Николай Андреевич, и это был единственный урок, на который Ксюша ходила не потому что надо. Остальное она отсиживала, делая вид, а на самом деле думая своё; здесь думала вслух. Николай Андреевич был из тех редких взрослых, кто не делал скидку на возраст. Если она говорила глупость, он говорил «глупость» и объяснял почему. Если умное — кивал и шёл дальше, не умиляясь, что вот, мол, девочка, а соображает. Он просто разговаривал с ней как с тем, кто соображает. Этого ей больше нигде не давали.

После уроков она осталась. Так бывало — она оставалась, он не гнал, они возились с каким-нибудь её кодом или он показывал ей что-нибудь, чего не было в программе. В этот раз она принесла не код. Она принесла то, что читала ночами, — распечатку, скачанную с научного архива, ту самую, техническую, про константы. Она разобралась не во всём, но разобралась достаточно, чтобы понять, что не с кем это обсудить, — в классе не с кем, дома тем более, а вот с ним, может быть.

— Николай Андреевич. Вы это читали? Не в новостях. Вот это, исходное.

Он посмотрел на распечатку. Взял. И она сразу увидела, что да, читал, — по тому, как он взял, не как берут незнакомое, а как берут то, что уже держали в руках и отложили.

— Читал, — сказал он.

— Я не всё поняла, — сказала Ксюша честно, потому что ему можно было признаваться, что не поняла, он за это не

считал глупее. — Но вот это место. Про то, что константы не могли выпасть случайно. Что распределение... ну, что оно как заданное. Я это поняла. Это же не про веру вообще. Это про то, что кто-то поставил значения. Как... — она замялась, потому что сравнение было её, ночное, и она не знала, прозвучит ли оно глупо вслух, — как когда инициализируешь. Задаёшь начальные параметры и запускаешь.

Николай Андреевич не сказал «глупость». Он молчал, глядя на распечатку, и молчал дольше, чем молчал обычно, и Ксюша поняла, что попала во что-то.

— Да, — сказал он наконец. — Именно так. Ты поняла лучше, чем половина тех, кто про это кричит. — Он положил листы на стол, ровно. — Они кричат «бог», «душа», «жили зря». А там нет ни слова про это. Там математика. Там сказано ровно одно: параметры системы заданы не изнутри системы. Извне. И — вот тут вторая часть, ты до неё дочитала?

— Про то, что источник... перестал. Да. Но там я совсем не поняла.

— Там и понимать нечего, там понимать нечем. — Он сказал это без выражения, и от того, как он это сказал, Ксюше сделалось не по себе, не от смысла, а от того, что взрослый, который всегда всё объяснял, сказал «понимать нечем». — Задавший больше не задаёт. Связь, которая была, — оборвана. Не спрятана, не пауза. Оборвана. Это всё, что есть. Остальное люди дорисовали сами. «Умер». Никто не доказывал, что кто-то умер. Доказали, что перестал отвечать.

Он замолчал. Ксюша ждала продолжения, того самого, которым он всегда закрывал тему, — «а вот отсюда следует то-то». Продолжения не было. Он сидел и смотрел на распечатку, немолодой человек в пустом классе, и она вдруг увидела его так, как не видела раньше: не учителя, который знает, а человека, который понял — единственный, наверное, в этой школе, во всём этом городе понял по-настоящему, до дна, — и которому от этого понимания не легче, а тяжелее, чем всем крикунам, потому что крикуны дорисовали и утешились дорисованным, а он видел ровно то, что есть, без дорисовки, и жить с этим было не с чем.

— Николай Андреевич, — сказала она осторожно. — А вам...

Она хотела спросить — а вам страшно? или как-то так, по-детски, — и осеклась, потому что вопрос был не её, был из тех, что задают, когда ждут, что тебя утешат, а она утешения не просила и предлагать не умела. Она замолчала.

Он поднял на неё глаза. И — она это запомнила — он тоже начал было что-то говорить и тоже осёкся, будто и у него слово не пошло, будто он хотел ответить ей по-взрослому, как всегда отвечал, а нечем было.

— Иди, поздно уже, — сказал он вместо ответа. И, когда она собирала листы: — Хорошо, что поняла. Плохо, что понимать это выпало в пятнадцать. Ну да выбирать не приходится.

Она шла домой в темноте, и внутри было странно — не

страшно, а как-то торжественно и одиноко разом. Она была права. Она поняла верно, взрослый подтвердил, и не просто взрослый, а Николай Андреевич, который зря не хвалит. И это должно было быть приятно — она поняла то, чего не понимали крикуны. А приятно не было. Было холодно и ясно, как бывает ясно ночью зимой, когда видно все звёзды и от этого не радостно, а одиноко: вот сколько всего, и всё это ни при чём, и никого там.

Задали параметры и запустили. Задавший больше не задаёт.

Дома она не стала открывать ноутбук. Легла, посмотрела в потолок. Мысль, которую она в прошлый раз не стала ловить, стояла теперь ближе и была отчётливее, и Ксюша всё-таки не поймала её и на этот раз — не потому что не могла, а потому что чувствовала уже, куда та ведёт, и туда пока не хотела. Успеется. Она умела откладывать то, что не хотела думать, — научилась раньше многих, живя одна.

9

В воскресенье Вера поехала к матери на квартиру — надо было наконец разобрать. Полгода собиралась и не могла, всё находились причины, аптека, усталость, а на самом деле причина была одна, и она её знала: пока в квартире всё как при маме, мама как будто ещё немного есть. Разобрать значило признать до конца. Но родственники спрашивали про вещи, платить за пустую квартиру было глупо, и Вера поехала.

Ключ повернулся туго — замок всегда был тугой, мама

жаловалась, а починить руки не доходили ни у мамы, ни у Веры. В прихожей стоял тот запах, который бывает в закрытых квартирах пожилых, — валерьянка, пыль, что-то бумажное, старое, и поверх всего мамино, её собственное, которое Вера узнала бы из тысячи и которое, она знала, скоро выветрится, как только откроешь окна, и это было почему-то самое страшное — что выветрится запах.

Она не стала открывать окна.

Ходила по комнатам, трогала. Всё стояло, как мама оставила, будто вышла в магазин. Тапки у кровати. Очки на трюмо, дужкой поверх раскрытой газеты, — мама всегда так клала, чтобы не потерять строку, хотя газета была старая, мартовская, последняя, которую мама читала. Вера взяла очки, подержала. Дужка была замотана изолентой в том месте, где сломалась, мама не выбрасывала, чинила изолентой, донашивала, как всё донашивала. Вера положила их обратно, точно так, дужкой поверх строки.

На кухне, в ящике, где мама держала свои бумаги, лежали рецепты. Мамины, за годы, скрепленные скрепкой, — Вера сама их и выписывала, сама приносила лекарства, она была для матери не только дочь, но и аптека, последние годы особенно. Она перебирала их и узнавала свой почерк на пузырьках, свои пометки — «утром», «на ночь», «после еды». И на самом верхнем, последнем, тоже был её почерк, мартовский, и лекарство это она принесла, и мама его пила, а потом перестала пить, потому что стало не нужно.

Вера села на табурет у кухонного стола, с рецептами в руках, и просидела так долго.

Она не плакала. Она давно уже не плакала по матери, отплакала ещё тогда, в марте, положенное отплакала — у гроба, на кладбище, в первые недели. Тогда всё было правильно. Мама умерла дома, в своей постели, не мучаясь долго, Вера была рядом, держала руку до последнего, и всё было — как надо, как хочешь для родного человека, если уж нельзя, чтоб не умирал. Отпели в костёле — мать была верующая, по-своему, тихо, — похоронили на Коммунальном, рядом с отцом, поставили, что положено. Всё легло на свои места. Мама ушла — и было куда уйти, был порядок, была та несомненная, не обсуждаемая раньше уверенность, что человек не в яму уходит, а куда-то, где ему теперь хорошо и покойно.

В марте это ещё было.

Вот за что она держалась, вот что считала в уме опять и опять, стоя за прилавком, в подсобке с чаем, теперь на этом табурете: за март. За то, что мама ушла в марте. До. Когда ещё был порядок, когда небо было на месте, когда уходили — куда-то. Мама успела в тот, прежний, надёжный мир, в последний его месяц, — и там, в прежнем, и осталась, пристроенная, покойная, под старым небом, которое над ней не обвалилось, потому что она уже была под ним, когда обвалилось.

Вера понимала, что это глупость. Она была неглупая женщина, тридцать лет с рецептами, с точными дозами, с латы-

нюю на пузырьках, — она понимала, что если то, что случилось во вторник, — правда, то оно правда и назад, и вперёд, на всё время сразу, и март ничем не отгорожен от вторника, и мама не «успела», потому что успевать было некуда и незачем, если некуда всем. Она это понимала так же ясно, как понимала дозировку. И всё равно держалась за март. Держалась руками, как за поручень, зная, что поручень нарисованный. Себе — можно. Себе она позволяла эту одну неправду, единственную, потому что без неё думать про маму было нельзя, а не думать не получалось.

Она сложила рецепты обратно, скрепкой, ровно. Последний, мартовский, свой, положила сверху. Задвинула ящик. Посидела ещё. Потом встала, вымыла за собой стакан, из которого не пила, — просто чтобы что-то сделать руками, — и стала собираться. Разбирать сегодня она так ничего и не разобрала. Окна не открыла. Заперла тугой замок, спустилась во двор, и во дворе было светло, обычное воскресенье, дети, кто-то выбивал ковёр, и Вера постояла минуту, привыкая к тому, что здесь, снаружи, всё живое и идёт своим чередом, и пошла на остановку.

10

Он стал готовиться.

Не сразу понял, что готовится, — сперва просто заметил, что делает вещи, которых давно не делал. Разобрал шкаф. Старое, ненужное, что копилось годами, потому что выбросить руки не доходили, — теперь дошли. Он складывал в

мешки то, что снести на помойку, отдельно то, что ещё годное, — это соседке, вдове, у неё внуки, пусть берёт. Он делал это спокойно, обстоятельно, как делают перед дорогой: чтобы после тебя не осталось лишнего, чтобы тем, кто придёт разбирать, было меньше возни.

Он всегда думал о тех, кто придёт разбирать. Всю жизнь у него это было — забота о том, чтобы после него было прибрано. Одинокий человек, он знал, что за ним не станет жены, детей, что придут чужие — из ЖЭКа, из собеса, — и переберут его немудрёное имущество равнодушными руками, и он хотел, чтобы этим равнодушным рукам было чисто. Раньше это было просто аккуратностью, привычкой порядочного человека. Теперь стало другим. Теперь это было — сборами.

Потому что он ждал вызова.

Он не знал, когда. Но с того дня, как объявили — сначала что есть, что доказано, что над ними и вправду Кто-то был и вёл счёт, — Яков Гаврилович жил в тихом, ровном ожидании, какого не знал полвека. Полвека он ждал наугад, вслепую, не зная даже, есть ли кому его ждать, — а вдруг никого, вдруг всё это, что он носил в себе, только его собственное, совесть, старческий морок, и никакого счёта нет, и умрёт он, и всё, и никто не спросит. Эта мысль — что не спросят, что всё сойдёт, что нет никого, — была для него страшнее любого суда. Потому что если не спросят, то и то, что он сделал, — повисает ни за что, ни зачем, просто было и было, как

погода. А человек не может, чтобы просто было. Человеку надо, чтобы кто-то видел и вёл счёт, даже если счёт против него. Особенно если против.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.